

Юозас Шикшнялис

ОЖИДАНИЕ



Литературный клуб



Калининградский
ПЕН-центр

Калининград, 2013

УДК 821.17
ББК 84-5 (4 Лит)
Ш 57

Шикшнялис Ю.

Ш 57 **Ожидание:** новеллы/Юозас Шикшнялис; пер. с лит.
Clandestinus – Калининград: Арс Магна: Калининградский
ПЕН-центр, 2013, – 52 с. ISBN 978–609–95444–0–3

УДК 821.17
ББК 84-5 (4 Лит)

© Ю. Шикшнялис, 2012
© Clandestinus, перевод, 2012
© А. Попов, оформление, 2012

ISBN 978–609–95444–0–3

Речь

Час ещё никому не известен, но в обращённых глазах насквозь поражённого болезнью тела читаю: она приближается. Тоже мне, новость! Ещё охваченный болями без причины – а такие боли самые отвратительные, так как не зная, от чего болит, не понимаешь, как надо лечиться; после визита к докторам – сын пристал, хоть сам я и не спешил – прочитал диагноз в присутствии врача, а затем и сына; и мне понравилось то, что диагноз был написан по-нашему, а не на (пусть даже и красиво звучащем, чужом и, впридачу, мёртвом) латинском языке. Потом, ещё находясь в полном сознании, видел, как все прикидываются, изображая, что всё идёт как нельзя лучше: день-другой – и я вернусь на свою скамеечку у дома, к своим нетяжким заботам и неумолимому желанию поднять завесу времени и посмотреть, что же за ней скрывается: империя, которая трещит по всем швам и качается на глиняных ногах, упадок – или чудесный прорыв?

Конечно, прикидываться удаётся не каждому – одним был талант дан, да утёк; блюдечки других были опрокинуты – так, сгрудившись, встали вокруг кровати, даже противно стало. Таким говорю: ступай, поскольку недавно учёные установили, что моя болезнь – заразна. По-детски? Но помогает. Вообще, пока я ещё не был так погружён в себя, пока ещё видел мир и свою муку со стороны, то наблюдал за близкими и, Бог весть, мог бы написать книгу. Исповедь – ничто, сравнивая её с реакцией человека на неизлечимого больного, особенно если этот больной – близкий человек.

Теперь уже не могу наблюдать свою боль со стороны, поскольку она обжилаась изнутри – и все мои силы, весь разум и сознание сконцентрировались внутри и ждут, когда же придёт Час и тело начнёт рвать, потом крутить, словно желая просверлить его, хоть в нём не осталось ни капли жидкости.

Громко не кричу, хотя больно, Бог видит, что больно; но вот – была или не была она раньше – появляется Пальмира. Хорошо не могу её рассмотреть – глаза почему-то словно жидким туманом затянуты, но, полагаю, что она должна быть красивой, поскольку после её визита боль отступает, будто устыдившись. Однажды, во время улучшения, совсем ни с того ни с сего припомнил, что ещё до моей болезни именем Пальмиры был назван ураган, опустошивший побережье Карибов. А теперь – несказанно далеко не только Карибы, но и окно, лицом к которому меня положили.

Пальмира только что вколола морфий – чувствую, как там, внутри, будто идёт борьба от сотворения мира, борьба между добром и злом. Я же в той борьбе не участвую, поскольку являюсь третьим – чехлом, словно какой-нибудь чернобыльский саркофаг, не позволяющий злым духам вырваться... Понемногу побеждает добро и я несколько просветлёнными глазами наблюдаю возящуюся Пальмиру: использованный шприц бросает в печь, считает оставшиеся ампулы – ещё пять, ясно слышу и думаю: что это? Рубеж? Два с половиной дня – а потом?

Размышления заканчиваются вопросом. Не хватает последовательности. Мысли в голове скользят горизонтально, как на киноплёнке – хочешь быстрее, хочешь медленнее – а если пожелаешь, так и совсем останутся. Нет, они будто приносят порыв ветра и, достаточно покрутившись у экрана сознания, расправляют складки, позволяя ознакомиться с содержимым; а когда начинаешь думать сам – быстренько сдувают прочь и... опять остаёшься ни с чем. Вот, теперь и Пальмира кивнула головой – до вечера! – и вышла за двери. Порыв у экрана сознания выровнялся и начал выправлять извилины для особо интересной мысли. Я понял, что это не новая задумка – ведь об этом думал ещё с самого начала болезни: произнести речь у своей могильной ямы!

Знаю, что звучит безумно; и каждый, ещё не сдружившийся со смертью, так подумает – возможно, не один из тех, у кого смерть уже стоит в ногах и хрипит, тоже безнадежно отмахнётся: чепуха! Чего он выкаблучивается? Подумайте сами: имеет ли усопший возможность всем, вставшим на краю его могилы, сказать «с Богом» или, может, «до свидания»? Конечно, нет!

Или может ли одним предложением испросить прощения у всех, кого он когда-либо задел? Конечно, нет! Или может ли одним всепрощающим жестом простить всем, кто когда-либо его обижал? Конечно, нет!

А тут – всё в одном действии: и извинение, и прощение, и прощание.

Успокою всех неверующих и сомневающихся; а скептикам, которые верят только в себя и себе, скажу: я в полном разуме, просветлённом морфием, увы! Вам трудно взглянуть в такие глубины, потому и сомневаетесь – но попробуйте. Жаль, что я в комнате один, поэтому не с кем поделиться своим огромным открытием. Блуждающие души появляются именно от того, что усопший не успел устроить всех земных дел: один умер, не услышав истины, а другой – её не дождался; третий только топтался возле постели, не осмелившись признаться в этом. Умиравший приволок с собою на холмик немалый рюкзак, теперь и так укладывается – неудобно, поворачивается на другой бок – ещё больше давит, а сбросить не может – потому и скитается без места и вечного покоя; и неважно, что все его в один голос замаливали, искренне или по инерции – не разберёшь...

Хочется вам, неверующие, сказать ещё кое-что: вы боитесь слов умирающего, его истины – так как боитесь, что вся эта истина тяжела, как крест зелёного дерева*, который придётся тащить на собственные голгофы день за днём всю оставшуюся жизнь. Вот чего вы боитесь! Не могу ни уменьшить вашего страха, ни увеличить его – истина мёртвых, закодированная в их последних словах, отнюдь не вердикт Последнего Суда; и если они вас задели, просим не принимать во внимание, так как незаменимый доктор Время – врач духовных болезней – сотрёт с вашего экрана памяти все обещания усопшего; а если не удастся это сделать – тоже не ломайте свою голову: со временем акценты будут так заменены, что он и сам, умерев, не поймёт, чего же он хотел сказать...

К сожалению, в этой игре козырями играют живые.

Знаю, что морфий покрывает мою боль словно кисея – зеркало в доме умершего. Как говорится, для того, чтобы глядя в

* Название одного из романов Юозаса Шикшнялиса (*прим. перев.*)

зеркало не увидит отражения усопшего; но не о том хотел я сказать: кисея морфия через недолгое время обнажит стигмы боли и я, утратив способность думать и излагать свои мысли, а может, даже своё последнее желание (и кто вам вбил в голову, что желание должно быть одно?), буду крутиться в мучениях, подобно разрубленному червяку. Знаю – тогда комната, словно сцена, опять наполнится актёрами, которые, демонстрируя свои актёрские способности, будут вымалывать мне лёгкую смерть; а может быть, и нечто другое – я не разберу, что беззвучно шепчут их тонкие, толстые и средней величины губы...

Истину говорю вам: не люблю, когда на меня, вертящегося от боли, внимательно смотрят, будто воистину был бы червем; в руках смотрящих не хватает только микроскопа или увеличительного стекла. Не особо доверяю и тем, которые, чуть поймав мой блуждающий взгляд, отводят глаза в сторону – наверно, полагая, что не хочу видеть их полных сочувствия взглядов. Кому нужна эта дешёвая игра? Все всё знают, понимают – и снова! – подобно шилу из мешка выползает страх живых перед умирающими, страх перед возможными последствиями, быть может. Иначе, кому эта игра? Неужели вы думаете, что мы, уйдя туда, ещё что-то можем? Чепуха! Какая же чепуха... Бабушкины кошмарики – детишек пугать... Откровенно говорю вам: мы, оказавшись там, много чего хотели бы; и в первую очередь – изменить кое-какие вещи, определяющие нашу жизнь... нет, я не говорю о геополитических, но о маленьких, бытовых вещах, которые всё же определяют линии судьбы. Следовательно, хоть и сколько не хотели бы – увы! – выше головы не прыгнешь, ничего мы не сможем изменить.

Образно выражаясь, живые и мёртвые словно живут на разных этажах, не далеко друг от друга, но и не близко. Нежелание живых, а так же и страх показать умирающему настоящие чувства – предрассудки; и видит Бог, если боль не скручивала бы меня в постели, а разум оставался бы светлым – как после визита урагана по имени Пальмира – смеялся бы, схватившись за живот; но теперь только кручусь... и спрошенный, где этот самый живот, не был бы в состоянии показать.

Крыльцо. Место, где я сейчас нахожусь, называется крыльцом; несколько полегчало – странно, но иногда так случается и без помощи Пальмиры; правда, длится недолго, чего уж

там... но значения, которым я когда-то определял время – понял, что это такое и, – чего тут скрывать? – даже ему верно служил – теперь уже не осознаю; в том случае знал бы и Час... Не переживайте, прошептал бы, вам осталось ещё двадцать восемь часов. Вам? Наверное, выпучили бы глаза все, кто собрались возле кровати. Как это – нам?! Так неужели я жду своей смерти? Это вы ждёте – моей! – отрезал бы, довольный. Но теперь всё не так, поскольку не осознаю времени; не слышу стука часов пульсом или сердцем; не вижу нервно прыгающих кардиограмм; не слышу курантов и не знаю, когда появится Пальмира, несущая покой, сытость и желание...

Возвращаюсь к потерявшейся в зарослях боли мысли: к желанию около своей могильной ямы решить до сих пор забытые земные дела. Было бы замечательно, если б сопровождающие меня построились в таком порядке: с одной стороны те, у кого хочу попросить прощения, с противоположной – те, кому собираюсь простить; а в изголовье – желающие поблагодарить меня и перед ними те, которых я намереваюсь благодарить. Итак, похоже на спектакль, в котором участвует вся театральная труппа. Таким похоронам требуется солидный режиссёр, хорошо знающий людей (как же будешь режиссёром, не зная их?) и знающий мои отношения с ними. Даже не представляю, кто мог бы этим заняться, поскольку сами сопровождающие меня так не построятся. Ведь те, которым в нормальных условиях я плюнул бы в бороду (поскольку всю жизнь только и смотрели, как бы посильнее придавить, получше сесть на шею; как укусить в самое больное место; старались толкнуть; не спешили поднять упавшего, и тому подобное – как навредить, по возможности, больше), займут самые почётные места, если у гроба таковые будут. Неважно, но на фотографиях они будут стоять рядом с родными усопшего, молитвенно сложив ручки и сварганив скорбные мины; а по прошествии многих лет потомки, роясь в пожелтевших фотографиях, станут показывать пальцами на них и говорить: вот кто были истинными друзьями усопшего и искренне сожалели о нём. Так искажается история.

Настоящие же и особенно достойные быть рядом или хоть неподалёку, будут стоять где-нибудь в стороне, в третьем или более отдалённом ряду, скромно опустив глаза, в которых ни-

кто – даже рядом стоящий – не сможет прочесть искренней боли и непоказного горя. Каждый третий будет вообще равнодушен, говори ты ему или нет – словами не пробить брони равнодушия; может, если только пальнуть из пистолета...

Зеркало мучений обнажается – и мысли, выброшенные водоворотом на экран сознания, исчезают из кругозора, уступая место великой, раздирающей кожу боли, которая разрывает и скручивает, желая вытянуть последние соки из тела.

Не остаётся ничего – лишь в комнате угнездившиеся глаза, в которых, словно в зеркале, вижу образ приближающейся – и бесконечно удивляюсь её виду. Но вовремя хватаюсь за образы, придуманные до сих пор живыми людьми. И ничего плохого, пусть живые играют со своей фантазией: ведь та – которую они изображают костлявой, с острой косой – не видит своей карикатуры, и поэтому (по понятиям земной жизни) не мстит так её изображающим. Такие мысли и её появление несколько успокаивают боль, но странно – я уже не хочу произносить речи у своей могилы и прощать всем того достойным или благодарить всех, заслуживающих благодарности – не хочу ничего, даже приближающейся издалека Пальмиры... с опустошённого Карибского побережья и несущей облегчение, поскольку эта боль...

Глаза

Неправда, что в глазах человека, словно в биографическом романе, можешь прочитать всю его жизнь. Глаза ведь отражают только теперешнее, которого, согласно философии, не существует. Эту тезу, чтобы не терять понапрасну времени, легко доказываю: сижу перед лицом старого деда, слушаю его жалкие всхлипывания и, глядя в его выпученные глаза, вижу только собственное отражение. Значит ли это, что я – отражение Ипполита? Ерунда в высшей степени, как было модно говорить в детстве, когда мы молились другим богам. По правде говоря, мы едины некоторыми связями – седьмая вода на киселе – и ничего больше, поскольку живём свои жизни, которые теоретически должны быть записаны в наших глазах.

Жизнь Ипполита – в круговороте слов, украшенном жалкой плаксивостью, которая нарушает покой, так как хуже мужских слёз могут быть только женские проклятия. Рассказ его не захватывает и не интересует – так, банальности. Леймотив – жена не только держит его за лодыря, но и настраивает против него собственных детей. Семейная беда – стара, как и сама земля.

Был красивый августовский вечер. Нерабочие дни – увы! – дни каникул, успокоилась природа и душа. Я чувствовал себя, словно родившись заново – чистый и невинный, я так незаметно вознёсся над рассказом Ипполита и его бедами. По инерции ещё кивал головой, будто соглашаясь или сочувствуя; а если удавалось несколько приземлиться и услышать какое-нибудь слово, требующее порицания или осуждения, энергично тряс ею. Были моменты, когда я даже заглядывал в его выпученные глаза. И ничего там не видел! В этой мизансцене я был статистом с дипломом Академии Искусств.

Полностью согласен с гневливыми, что отвратитель-

но сидеть, словно не на званном пиру и скучать оттого, что кипящие рядом страсти или даже драма тебя не задевают и крылышком. Классик точно охарактеризовал такую ситуацию, но хоть голову руби – не помню этой золотой мысли. Не являюсь человеком с каменным сердцем и не было особенно интересно сидеть, наблюдая через его пустую голову проходящих мимо деревенских красавиц – до шестнадцати, но созревших, как африканки, глазающих на коричневые поля, которые день за днём выцветают, словно глаза моего собеседника; слышать не его хрипение, а щебетание готовящихся ко сну птиц, которое напоминает союз заговорщиков против диктатора. Совсем незванная, в голову пришла такая странная мысль – и её сопровождающая: в истории человечества хватало не только диктаторов, но и заговоров против них. И на крыше, и под крышей.

Она говорит: дети мои, дети мои, и никогда – мы. Я – пустое место или блоха, заслужившая уничтожения; а может, даже и позор семейства, о котором лучше молчать, иначе обхохочешься. Мои труды, работа, в конце-концов даже зарабатываемые деньги нереальны, воображаемы; а с первых дней совместной жизни, когда за подаренные моими родителями деньги я купил мебель – через пятнадцать лет она с любовью и восхищением всем рассказывала, что мебель была куплена за деньги, подаренные её родителями! Тебе, просвещённому человеку, такие бытовые мелочи неприятны и неинтересны, но смолчать не могу...

Полагаете, в моём понимании появившийся вакуум, как видно, заполнился содержанием души собеседника? Не можешь молчать – говори, но не мне, кому входит в одно ухо и выходит через другое. Напрасен труд. Ничто не меняется в устройстве этого мира и коли выплакал сотню граммов слёз, сливаешь в себя столько же водки. Одно лишь окупается – не надо ходить в туалет... Ничего подобного я не говорю собеседнику, потряхиваю головой, словно заведённая игрушка; поглядываю по сторонам, хотя вечерние сумерки уже поглощают находящиеся вокруг предметы намного быстрее, нежели развивается действие на скамейке под яблонями. Будем справедливы – тут действие застыло на месте, как та пластинка в детском санатории во время танцев, ког-

да громкоговорители дребежжали: ай-люли, ай-люли, это... и опять сначала, пока некий еврейчик – кстати, настоящий, – не побоявшийся тогда не только признаться, но и показать обрезанный кончик, не передвинул грамофонную иглу: это новый танец, ай-люли...

Поднимая себе хвост замечу, что у меня хватило ума не ляпнуть, мол, человек бессмысленно разбурлился: получил, что причиталось, так как давал себя топтать всю жизнь – и ещё сотню золотых советов, которые ничего не стоят. Смолчал, но обильно текущих и в вечерних сумерках светящихся слёз утирать не спешил.

Сидели несколько добрых часов – за это время можно рассказать не только свою, но и выдуманную жизнь – хоть разговор идёт по кругу, всё то же самое.

Глаза собеседника уже проглочены сумраком и пришло время закончить этот трагифарс. Я решительно поднялся, демонстративно широко зевнул и раскрыл рот пожелать ему спокойной ночи, как внезапно услышал:

Да разве это жизнь? Лучше повеситься...

Веские, трансцендентные слова были произнесены буднично, словно помимо всего прочего, без эмоциональных голосовых модуляций и ничем не выделялись из вечернего причитания с хрипением, сопением и вздохами. Вместо них могли быть произнесены какие угодно слова; поэтому, как ни в чём не бывало, я похлопал Ипполита по плечу (кто бы мог отрицать, что этим жестом я не побудил его совершить то, к чему он готовился?) и, спокойный как священник, облегчив душу ближнему, ушёл спать.

Не буду банальным и не скажу, что спал я сном праведника – не крутясь, не переворачиваясь, не видя кошмаров. Не знаю, сколько это продолжалось, поскольку внезапно меня разбудил шум и крик – не хватало только скрежета зубов.

Шумели и причитали все женщины в доме – их было две, а такого количества достаточно, чтобы вызвать ураган. Просьба не думать, что я спокойно перевернулся на другой бок, равнодушный к таящимся в этих криках горю и боли. Нет! Сто раз нет! – потому что, будто ошпаренный, прыгнул в штаны, а потом – туда, откуда доносился плач и разгорались страсти.

Было хуже, нежели я ожидал: в кухне, на полу, задравши

подбородок к небу, словно бревно простирался на спине Ипполит с оборванной верёвкой на шее. С первого стремительного взгляда, слава Богу, ещё живой, только немного посивший. Я бы провалился сквозь пол, но он был из красных, ещё довоенных кирпичей, твёрдый – и не поддавался моему весу.

Я пытался объяснить: всё начинается и заканчивается там, где два человека не могут договориться! Осознание происходящего было грубо разрушено, словно танком, так как я услышал:

Вот к чему приводит водка! И припев: сколько раз говорила – не пей!

Адресатом должен был быть я, поскольку Ипполит, пусть ещё полуживой, но ещё не изменивший позы, вряд ли мог что-нибудь слышать. Я среагировал неадекватно: встряхнулся, словно пёс, вылезший из воды и, присев к бывшему висельнику, развязал верёвку (почему любящие женщины не могли этого сделать?), проверил пульс. Жизнь – была, не была! – охотно вернулась домой. Ипполит дышал всё глубже, а чистую синь на щеках сменял румянец. Осталось поблагодарить лопнувшую верёвку.

Я не был врачом ни телесным, ни духовным, поэтому лишь с нескрываемым сочувствием посмотрел бедняге в широко раскрытые глаза. Первый раз с такой близости посмотрел – и был несколько потрясён, понимая, что буду довольно опрометчивым, поскольку в человеческих глазах, словно в биографическом романе, можешь прочесть всю жизнь. Только для этого не подходит спешка, заранее негативное расположение, нечувствительность.

Взгляда одним глазом, сидя вечером на скамейке под яблонями, тоже недостаточно.

Говорю вам: желая прочесть жизнь человека по глазам, надо посмотреть в них в момент смерти. Тогда неожиданно понимаешь и ощущаешь его подавляемую, мнущуюся как тесто, толкаемую в угол, оторванную от крови и плоти своей, с выколотыми глазами, заткнутым ртом, забитыми ушами, сходящую с ума от одиночества, бьющуюся как птица душу, которая ни для кого из близких непонятна, нечитаема.

Моё знание никому, кроме бывшего висельника, не было важным, так как его женщины и дальше поднимали невидан-

ные доселе ураганы, разыскивая виновных не с той стороны и даже издалека не пытались посмотреть Исполиту в глаза и прочитав, что же там написано. Я мог выбирать: унести это знание с собой или же просветить этих дам. Я проверил свои силы, посмотрев им в глаза – и понял, что моя попытка осуждена на постыдный провал: и глаза жены, и глаза дочери сияли бесконечной справедливостью и огромным доверием к себе. Я сдался и достойно удалился.

Вечер на скамейке

Вечером, когда затихают звуки и поднятая дневной работой пыль медленно садится на деревья, дома, траву и человеческие судьбы, сидишь себе на своём любимом месте – на скамейке перед домом, – которую смастерил в прошлом году из двух чурбаков зелёной сосны и старой, ещё до войны распиленной доски. Кажется, что скамейка переживёт тебя, но в этом году ноги зелёного дерева, вросшие в землю и подпёртые камнями уже треснули, зато широкая, вдвое моложе тебя доска вроде бы и ничего. Что же говорить о скрученных и страдающих болезнями людях, если дерево становится таким хрупким, утверждаешь словно прокурор, пася с годами уставшие глаза по рытвинам измождённых полей. Август, очищение; Бог, махнув рукой на людские заблуждения, позволяет собрать урожай, которому, как доводилось слышать, никто не рад, потому что – как в той поговорке – сколько посеешь, столько и пожнёшь.

Острое жнивье колет глаза, потому поднимаешь их выше – нет, не в небо, вопрошая Господа, почему же всё так, а не иначе, поскольку знаешь, что хозяин небес и порядка на всей земле не начальник конторы, сегодня предоставляющий милость, а завтра – незаслуженно карающий, в зависимости от настроения, поведения жены или секретарши, или оттого, с какой ноги он сегодня встал...

Поднимаешь глаза выше – и взгляд запутывается в густой листве растущего в полях дуба. Дерево живёт согласно своим, дубовым законам, потому и не обращает внимания на земные реформы, на пестициды и хербициды, которыми вокруг него обильно поливали землю во время колхозов. В какой-то миг даже его крона стала исчезать из глаз. Не выдержав, спускаешься полегоньку к дороге и, остановив трактор с меднокрашенными бочками-баками на задуге, обещаешь Аткалину бутылку пива, чтобы согнул этот дуб в дугу. Трудно сказать, что

именно помогло, только в следующий раз крона дуба вновь была густой, не просвечиваемой насквозь, а сухие ветви сами упали или были сломаны ветром. Дуб выглядел как человек, выпарившийся в бане.

Хорошо видеть дуб перед собой, поскольку глядя на него успокаиваются и отдыхают глаза, которые устали от происходящих на земле дел. Даже подумаешь: как чувствует себя дуб, если он видит всё твоими глазами? Но нет, понимаешь, отмерив взглядом его поле зрения, дерево не может этого видеть, так как весь вид ему преграждается другими деревьями – словно кальмар раскинул свои щупальца высокий кустарник и толстая липа, заслонившая собой усадьбу Дамина. Кроме того – кто ж ему вложит твои глаза?

Какое счастье, о дуб, что ты не зришь всего этого!

Босоногие, с непокрытой головой, грязные дети Дамина за забором усадьбы рвут и собирают с земли сморщенные сливы, которые в этом году были безжалостно обезвожены жарой. Деточки жадно лопают недозревшие фрукты – и не похоже, чтобы у них болели животы. Слышны одновременно три звука: шлёпанье ног по гальке двора, угрожающая возня собаки, величиной с полугодовалого телёнка, и стук в дверь. *Мама, папа пришёл*, – пропищал один из малышей, а другой, более малый, ему подпел: *па-па*. Через густо опоясавшую двор живую изгородь оливы не видно, что там происходит, но слышно хлопанье двери, ворчание, дребезжание стекла. Немного спустя по улице шагает безусый паренёк с высунувшейся из кармана бутылкой. Немного пройдя он встречает сверстника. *Дай-ка хлебнуть*, просит тот. *Да если б было моё, Зигмас – никогда бы не отказал, но ведь сам понимаешь...* Зигмас утоляет жажду ругательствами и чешет своей дорогой, которая ведёт в неизвестность.

Похожие сцены повторяются с утра до вечера, а иногда и в глубокую полночь, пока не заканчиваются ресурсы. А это случается весьма редко, поскольку Даминов юнец прекрасно знает, что надо народу. Такого понимания не хватает политикам, усмехаешься мысленно.

По улице, благородно опираясь на палку, шествует Франциск, которого называют Францисканцем*. Съеживаешься,

* Монах нищенствующего католического ордена; в данном контексте – ироничное прозвище (*прим. перев.*)

будто виноватый, но Франциск, стуча палкой по асфальту, шагает мимо. Радуешься, потому что Францисканец много болтает – и всё про болезни. Иногда вспоминает о здоровье собеседника, но это лишь для того, чтобы продолжить: *и со мной такое случалось...* Впрочем, это ещё ничего. Не любишь людей, которые как головастики могут плавать в воде и ползать по земле.

Тебе, всеми не поглаженному по головке за век сменившихся властей, трудно понять возможности хамелеона. Франциск, заметив едущего на велосипеде деревенского учителя, распрямляет – насколько возможно – спину, впалую грудь и, высоко поднимая чуть волочащиеся ноги, нападает на жертву.

Для начала – общий политический обзор. Одним ухом улавливаю: *да, да, историческая ошибка, коммунисты вернулись к власти.* Сладко хихикаю в кулак: господин друг оставил воду и уже вовсю рвёт по земле. Но ему – везде хорошо. Обильно и вовремя смазываемый флюгер даже дрожит, ожидаю смены направления ветра; успеваешь подумать и – слышишь хорошо знакомый голос, а затем сквозь просветы живой изгороди видишь, как во двор, чуть волоча ноги и велосипед наискось, протискивается сын.

Встряхнёшься, словно попав под струю электротока и пытаешься успокоиться, глядя на не дрогнувший ни листочком, ни веточкой дуб.

Дай мне, о дуб, твёрдости – молишь и слышишь стук в двери Дамина, шёпот, бормотание и дребезжание стекла. Может, пронесёт? Ещё надеешься. Но открываемые ворота сыграли свою мелодию, которая всегда была мила, только не в этот раз...

Тяжело понять, что он, с преждевременно (сколько ему, быстренько прикидываешь, сорок? Нет, должно быть, больше) вспаханным морщинами и рубцами лицом, кровью и огнём безумия сияющими глазами, хочет спросить, выкрикнуть, обвинить или только излить обиду, горе, боль. Сам себе наливают, сам на себя и пьёт, но только совсем не пьянеет. Знаешь: он свалится, как подрубленное дерево – сразу, без промедления. Упадёт на колени там, где сидел – и если рядом не будет надёжной опоры, грохнется на землю. Тогда, словно младенец (а ведь так и есть), унижая гнев, обиду, унижая любовь и жалость, унижая нежность, напыжившись потащишь его в по-

стель, что стоит в его бывшей комнате пустой уже много лет, хоть и чисто покрытая. Как попало стянешь верхнюю одежду, грязную и рваную, положишь его на кровать и, заботливо укутав, на цыпочках покинешь комнату. А рано утром, чуть засветло (знаешь, что работа у него начинается в семь), будешь трудиться на кухне, готовя завтрак – из того, что только есть хорошего в холодильнике.

С утра он, сидя с низко опущенной головой, будет жевать коренными зубами, говоря о том о сём, а затем несмело спросит: не осталось ли шлага со вчерашнего? Злобно звякнешь бутылкой о стол – и он быстренько, стуча зубами о стакан, выпьет и подобревшим голосом скажет: *знаешь, отец, хотел бы и я к вам вернуться. Совсем*, – добавит для ясности.

Возвращайся, – ответишь равнодушно, насколько только можно равнодушнее, но ему не важен твой тон или слова; лишь посмотрит не отрывая глаз на быстро пустеющую бутылку, словно с желанием самому влезть в неё. *Бери мои носки*, предложишь, так как вчера, раздевая его, видел, что от его носков остались лишь тряпки, *совсем новые*. У меня есть, махнёт рукой и сольёт в стакан последние капли. *Так хоть рубашку возьми, у твоей воротник разорван*. Потом, нетерпеливо отмахнувшись опять и, одним залпом опустошив стакан, уже в дверях бросит он через плечо: *ну так, до вечера*. До вечера, ответишь, даже не зная, что это «до вечера» может длиться и месяц, и год...

В этот раз ожидаешь подобного вечера, – поэтому ставишь во дворе велосипед, который ещё хорошо выглядит и гордо сияет хромированными деталями, прислоняя его к амбару. Сын сидит там, где сидел, хотя половины бутылки уже как и не было. Редко отказываешься от стаканчика, только любишь повторять: *сам люблю выпить, но не выношу пьяных*, потому теперь нет даже мысли протянуть руку к наполненному стакану.

В бессмысленном бормотании начинаешь различать слова, пока не ошалеешь, сложив их в одну кучу: *если б не мать, всё было бы хорошо*, повторяет и повторяет, скрежеща зубами. Не говоришь ничего – зачем сотрясать воздух без причины, только затыкаешь наполовину выпитую бутылку, поднимаешь сына с его седалища и, сунув водку в мятый карман штанов, спокой-

но говоришь: *уходи из моего дома, поскольку за столько лет ничего не понял*. Он не сопротивляется, не противоречит, не рвёт рубаху на груди, как любил делать раньше, только бубнит себе под нос. Спотыкаясь и держась за стены вываливается наружу. Смотришь на его так рано сгорбленную спину – и вовсе не желая того думаешь, что твой сын похож на побитую собаку. Но – не ты ли её побил? Спрашиваешь себя, вернувшись на скамейку возле дома. И при чём тут мама, дай ей, Господи, Царствие Небесное – только твоё пожелание случайно вырвалось: ведь если попал туда, значит, было за что. Во-первых, за этого, упавшего спяну возле живой изгороди – словно тогда, много лет назад, когда он будто вор оставил дом без вашего благословения и одобрения. Долгие годы избегал ходить теми самыми путями-дорожками; а при встречах с глазу на глаз отпрыгивал в сторону, словно испуганная лошадь. И лишь напившись становился смелым и бормотал, что его выгнали из дому и лишили наследства.

Мать читала все известные молитвы, но только одна из них была услышана: как можно скорее покинуть бы эту юдоль скорби и слёз. Так и случилось.

Сидел себе на своём привычном месте возле дома, скользя глазами по межам и жнивью, давая им отдых на широкой кроне дуба – пока над полями не явились сумерки, серой шалью накрывая желтеющее жнивье и листву дуба. Тумана над рекой не было; утром, значит, возможен дождь – говоришь громко и поворачиваешь к дому.

Возле амбара стоял сыновний велосипед и, словно ожидая чего-то, сиял хромированными деталями.

Песнь косы

Скрежет точимой косы лезет в уши, как только открываешь свинцовые веки, которые всю ночь, словно поддерживаемые стальными пружинами, так и не опустились на горящие глаза. Только под утро, когда через тяжёлые шторы начал сочиться серый рассвет, пружины исчезают. Кажется, это занимает всего мгновение, поскольку, как видно, тут же слышишь скрежет, который сливается в один высокий звук, идущий в ухо через левое открытое окно – а там, в голове, прямая звуковая линия, ломающаяся в каждой извилине мозга (с детства чувствуешь лёгкое завывание), ударяется в правое окно и, отскочив от стены, ещё какое-то время летает по дому.

А дом – полон скрежета и ты, не желая вставать с постели, думаешь, кто же ранним летним утром может точить косу, поскольку совестливый хозяин с первыми лучами солнца, позолотившими срезанные кроны деревьев лесной опушки, уже весело размахивает ещё с вечера заточенной косой. Мучить косу с утра может только непоседа, который сразу берётся за первое, второе и третье, но всё лишь падает из его огрубевших рук, а одно за другим следующие дела остаются не законченными – словно вечный упрёк или соринка в глазу.

Но созерцать их надоело – хоть глаз и не калечит. Совести – также. Такие люди живут в мире наполовину сделанных дел со своими половинчатыми намерениями и начинаниями, а им кажется, что это житие праведников – говоришь, хлопнув дверями, словно желая заглушить плач точимой косы.

Хлопанье дверей, как видишь, затихает, а коса плачет ещё яснее и громче – даже голова начинает болеть.

Так и стоишь посередине двора, забыв даже о завтраке и крутишь головой, лоя, с какой же стороны доносится песнь или плач косы. Может, Даминас? – думаешь поначалу. Уже

неделя без дождя, мох – словно порошок, грибы, оглядываясь на чистое небо, все спрятались под землю, да у соседа подохла корова – и жирный кусок к пенсии застрял в горле по пути к желудку. Когда после дождя пожелтеет лисичками лесной мох, а скупщик Заяц широко распахнёт бездонный, пусть и облезлый, кошелёк – Дамина из лесу не выгонишь ни палкой, не вывезешь даже самолётом, который два раза в год опыляет лес для защиты от типографов, грызущих всё, что только зеленеет.

Откуда люди берут терпение, подумаешь изредка, видя соседа, возвращающегося с почти полным пластмассовым ведром лисичек. Уходит, как чуть рассветёт, когда ещё раскладываешь последние остатки сна, а возвращается по наступлению дня. Выигрыш – несколько литов. А в картошке Дамина – посреди саранчи, сорняков и других Божьих казней – не видно даже цветов картофеля. Даже колорадские жуки, на расстояние чувствующие запах марганцовки, блуждают в этих амазонских джунглях; поэтому осенью сосед будто ничем-ничего говорит: *а мою картошку, братки, колорадский жук не берёт – может, в этом году повывелся?* А что говорить о прохудившейся крыше сарая, через которую дождь моет спины коров или от ржавчины рассевшихся воротах амбара, которые жена Дамина с покусанными экземой ногами и криво сросшейся рукой ежедневно чуть открывает? Ещё надо бы подпереть падающий забор, подгрести дорожки, усыпанные прошлогодними листьями. Но у Дамина нет времени...

Стоишь посередине двора, ласкаемый лучами раннего солнца, которое уже пробилось сквозь листву липы Карауских – её век и жизнь для тебя загадка. Несколько лет назад казалось, что дерево заканчивает свои дни: буря сломала нежную верхушку; затем засохла одна ветвь, другая. Тогда и подумал: если её не будет – потеряешь совершенную меру времени, безоговорочно превышающую точность самых лучших швейцарских часов, собранных в кучу. Это ясно, как движение солнца по небу.

Озираешься, с какой же стороны доносится песнь точи-мой косы и думаешь себе: какое тебе дело до обучения Дами-на жизни? А есть ли у тебя такой обет? Ведь сосед из твоих

уст ничего подобного не услышит, а если осмелишься – так плюнет в лицо. Каждый живёт ему данную жизнь, как он понимает – и дело с концом.

Оглядевшись, сплёвываешь на траву рядом с тропинкой. Грудь уже вторую неделю жмёт и давит. Песнь косы теперь звучит с другой стороны – из усадьбы с заколоченными окнами и без штор, кособокой, с забывшим вкус и запах дыма камином. Она терпеливо ждёт новых хозяев, которые не торгуясь уплатят требуемую сумму. Тебе кажется, что дома, оставленные их построившими людьми, идут с рук на руки или в скором времени станут никому не нужными. А не похожи ли они в этом на людей?

Стоящий по той же стороне другой дом, повернувшись к тебе оббитой покрашенными зелёными досками стеной, с засиженными мухами окнами, тоже не подаёт признаков жизни, хоть и имеет владельца – Болялиса. Вы с ним почти ровесники, без нескольких годов разницы по девять крестиков на спине тащите. Только изредка останавливаетесь, каждый со своей стороны возле проволочного забора, который ты, ещё будучи крепким, тащил, разделяя участки под наблюдением зоркого соседского глаза, чтоб – не дай Бог! – не присвоил себе хоть сантиметра. Смешон страх Болялиса – другому мог бы с лёгкой руки отрезать собственных полметра...

Болялис живёт тихой и несколько таинственной жизнью, но встретив могущего слушать человека распекает громким голосом, словно какая-нибудь сказочная птица. Не любишь ты этих сказок, потому что в них всё придумано – только имена людей и названия мест настоящие. Сосед, сам того не замечая, путается в разноглагольствованиях; забывает, когда началась и когда закончилась война – и даже когда он сам увидел этот мир.

О чём же с таким болтуном, напоминающим облезлый стул, можно поговорить?

Теперь, слушая левым ухом, через которое ещё лёжа в постели в первый раз влетела песнь косы, показалось, что работа идёт в усадьбе Болялиса. Вряд ли это возможно, ожесточённо трясешь головой, желая всё-таки отделаться от надоевшего звука. Сосед за время всей своей немалой жизни так и не научился точить косу. Бывало, как остаётся месяц до

сенокоса, падал в ноги: соседка, наточи косу! И приносил не одну и не две, а целую охапку, оставшуюся от праотцов – сточенных, узких как бритва – кос. Я терпеливо пояснял ему, что не возьмусь за эту работу, поскольку на сточенной косе ни один мастер не выбьет лезвия, так что пусть Болялис не пожалеет нескольких рублей и в магазине купит новую – из хорошей стали и с широким лезвием. Тонкое даже звенит при покосе травы. Болялис долго переминался с ноги на ногу, всё поправляя падающие штаны (это движение рук осталось с детства, пока отец Болялиса не позаботился вправить ремень – и ребёнку приходилось ходить со спадающими штанами), пока не уходил, унося свои сбитые косы. Не спросив совета и пожалев несколько рублей он прибежал в самый разгар сенокоса и выпрашивал косу, забираясь прямо в глаза, что новых кос в магазине не застал. Мог бы и не одалживать косу, но она висит в амбаре на балке и словно просит, чтоб ею хорошенько размахнулись; словно сама соскучилась по своей песне, которая теперь – могу поклясться! – звучит со стороны усадьбы Болялиса.

Не может этого быть! Пробубнил и, заткнув левое ухо, которое пропустило песню в голову, поворачиваю в сторону соседа правое. Скрежет звучит намного глуше, но главное – вовсе не со стороны соседа. Не отпуская уха, понемногу поворачиваешься в сторону Дамина – и чувствуешь, что песнь косы крутится вместе с тобой, как будто застряла в голове. Отняв руку от уха, крутишься дальше в круговороте песни косы. Остановившись, наконец, трясешь головой, словно желая вытряхнуть из ушей или мозговых извилин застрявший звук, но он ещё больше крепнет – и из усадьбы соседа перекидывается в твой огород; он звучит из-за амбара, где с давних пор, рядом с местом выпаса кур, ты врыл столб с точилом для заточки косы.

Топаешь туда – звук всё громче, даже в голове отдаёт, – но не дойдя до угла амбара бросаешься назад: на улицу, к людям, может, кто-нибудь объяснит, какие бесы тебя мучают с раннего утра?

Долго ждать не приходится: медленно, твёрдыми, но тяжёлыми шагами топает сосед Йонас, который говорит редко – и только если есть, что сказать. Перекидываетесь несколькими обязательными фразами о погоде, которая как нельзя лучше подходит к сенокосу и началу августа. Тебе это не интересно, поэ-

тому торопишься и, погоняя время, спрашиваешь: *и кто знает, кому это понадобилось с раннего утра точить косу? Какую косу?* Ионас поднимает густые брови и смотрит тебе прямо в глаза. Ты отводишь взгляд в сторону и, махнув рукой, произносишь: вот голова, забыл – картошка варится! Ионас прощающе усмехается и громыхает своей дорогой – а ты возвращаешься домой, сопровождаемый нескончаемой песнью косы.

Мгновение

Воспоминания – это текущая в широтах времени между пологих будничных берегов река, которая на пьянящих извилинах жизни подтачивает дно памяти – тяжело пытаюсь связывать мысли, не претендуя на профессиональное авторство.

Искать знамения и следы твоего бытия я спохватился довольно поздно, поскольку шестнадцать лет – даже весьма серой, паутиной опутанной жизни – довольно немалый срок, а что говорить о ныне пролетающих темпах?

В домах, где уже несколько лет господствуют другие запахи, звучат другие голоса, даже по-другому расположены привычные вещи, можешь поймать мгновение, когда остаёшься один. Тихим и неживым глазом из угла грустно глазают телевизор; словно испорченный, перестаёт гудеть неустоящий холодильник; недавно оказавшаяся здесь комнатная бегония (не фикус детства, листья которого меня заставляли полировать машинным маслом) увядает и перестаёт расти. Даже мыши, день и ночь снующие по кухне, перестали показывать свои усатые мордочки из-под шкафа. Замирают и перестают гнать время вперёд настенные часы. В святой тишине можно услышать множество ежедневных звуков, заглушаемых отзвуками прошлого – надеюсь почувствовать дом, боясь не упустить редкий момент.

Раньше, когда дом стоял пустым, он охотно со мной разговаривал, на своём языке, конечно, который, полагаю, был мне понятен – а может, я только прикидываюсь, поскольку тогда особенной необходимости вслушиваться в дом не ощущалось. А дом был полон звуков: разными интонациями и голосами звенел пол – не одна плохо пригнанная или треснувшая доска, а все до единой, – когда на него наступишь. Тогда меня не занимало, о чём они потрескивали, так как я совершенно серьёзно думал, что язык досок напрямую зависит от темпе-

ратуры или перепадов атмосферного давления, а может, и от количества влажности в воздухе. Не могу отказаться от этой материалистической мысли – закрывающей все окна метафизике – и теперь.

Почему потолок, по которому никто не ходит, гулко поскрипывал или продолжительно стонал – ответа я не искал, словно это было будничным, само по себе ясным делом. Немного спустя мне довелось испытать, что дом, наполненный ежедневными звуками, теряет самость.

Зато теперь, выпучив глаза, поставив уши торчком, собрав в кулак всё биополе, надеюсь не физическими или метафизическими законами без особого труда объяснить звуки дома, все эти вздохи, причитания и скрипы. Расшифровывая их, мне пришлось бы потратить много времени, а ещё не известно, повезло бы мне, так как язык дома – словно китайское письмо, где тот же самый иероглиф имеет несколько значений. Нет, сегодня я надеюсь услышать нечто другое, полагая, что дом с полностью изменённым порядком вещей новых обитателей будто губка, а говоря по-научному – звуковая плёнка или какой другой для тех же целей приспособленный материал, впитавший в себя за долгие годы внутри его звучащие шумы.

Трясусь от напряжения, ловя ухом пощёлкивание швейной машины, которое в детстве напоминало тарахтенье пулемёта. Пока что напрасные усилия. Было бы легче, если бы старая *SINGER* стояла бы на своём месте – в кухне под окном, несколько наискосок, чтобы свет – как учат проповедники здорового образа жизни – падал бы слева. Кто знает, а знала ли машина об этом правиле, усмехаешься. Там, где в стену упираются углы швейной машины, можно почувствовать небольшую выдолбленную ямку в шпаклёвке. *SINGER* стояла на ажурных твёрдых ножках, а подставка её была стёрта до матового сияния. Она пахла машинным маслом и ещё чем-то – может, тканью? В её бездонном ящичке можно было обнаружить самые неожиданные вещи. После того, как мне зажало пальцы меж куском нерассыпающегося, мылом протёртого (хоть убей, не помню зачем) мела и деталью швейной машины, похожей на курок алебарды – своё получил с лишком, избегая в дальнейшем лазить в бездонный ящичек.

Машина была несговорчивой, словно старая дева и не

спрашивала меня ни о чём, когда я пытался подогнать узкие штаны под пошив модных клёш. Всё спутал, порвал нитку, сломал иглу и, не в состоянии спрятать концы в воду, так всё и оставил.

Теперь я не слышу *SINGER* – старой молчальницы; этот звук исчез, когда из дома была убрана сама швейная машина. Не слышу и сухого, разрывающего грудь кашля – его была полна изба, все комнаты – а в особенности спальня, так как приступы чаще всего наступали ночью, во время спокойного сна и каких-нибудь приятных сновидений, хотя и не помню ни одного из её снов. Может, не рассказывала? Прильнул к задней стене дома без окон. Она покрашена свежей серой эмульсионной краской, которая впитывает звуки, пыль – и сама долго отвратительно пахнет. Стена немая и холодная, будто лоб покойника – ни звука, только глухим эхом доносится рокот проехавшего мимо по улице трактора.

Кто же стёр запись со звуковой дорожки дома?

Мгновение спокойствия в этом своём-чужом доме не будет бесконечным; надо спешить – но чьей волей ускорены медленно текущие мимо воспоминания, которые приходят и уходят только по им одним ведомым законам, совершенно не обращая внимания на горячие молитвы склонившегося перед алтарём времени?

Вдруг засияла надежда: в полной тишине – даже птицы на улице не щебечут – что-то слышу. Ещё не разбираю слов; ещё не знаю – или это изнутри слуховых центров идущие звуки, или это звуковая дорожка дома и его вещей. Немного спустя начинаю по порядку разбирать слова, которые сами по себе складываются в предложения:

Делайте с воротничком, тётя, потому что у меня красивая шея, как у старухи; а на спине пусть будет вырез, но только не очень глубокий – парни лягушек накидают.

После – пауза: *к комбинезону пришей карманы; не знаю, куда положила метр и карандаш...*

Ты надолго там застряла? Только начерти, сама вырежу. Шесть рубашек, дядя, сшей. Сзади – капюшон.

Где твой голос? Кричу беззвучно, окаменевший и застывший, так как каждый неосторожный звук может стереть звуковую дорожку памяти. Неужели ты, сидя возле клиентов и

только в тишине соглашаясь с их запросами, не могла сама что-то предложить? Ведь говорила, советовала, не молчала, как рыба?

Почему же не слышу твоего голоса?

Тогда я поставил на карту всё, словно игрок, не теряющий надежды отыграть своё добро – и из застрявших в памяти обрывков, осколков, деталей и образов слепил твой портрет.

Ты вошла сквозь слегка приоткрытые двери, как всегда съёжившись, но сценически – как балерина – передвигая ноги. Кто знает, подумалось, какого размера ботинки ты напялила? Привычный жест: правой рукой, большой палец которой вывернут ревматизмом, ты поправляешь съезжающий на затылок платок в голубой горошек на белом фоне. Вот это да, удивляюсь – за столько лет он ничуть не выцвел!

Протягиваю руку в твою сторону; мнусь, ещё не зная, о чём спросить – а ты проходишь, как мимо мешка с камнями и, удалившись в спальню, садишься на кровать. Руки твои скрещиваются на коленях. Оттуда, много лет тому назад, я увидел этот мир.

Влетаю следом – и чуть не растягиваюсь на полу, задев ногой за порог. Замираю, как в детстве, когда возвращался с улицы с особенной новостью или просьбой и находил тебя, беззвучно шевелящей губами и перекидывающей чётки между пальцев. Останавливался разинув рот, стараясь проглотить текущие слова. Тогда мне казалось, что молитвы – чаще всего это были послеобеденные или по случаю – продолжают вечность. Ясно: в детстве – или в старости – нам постоянно не хватает времени. Хотя ожидание продолжается и теперь. Крепко сомкнутые тонкие губы, обрамлённые глубокими продольными морщинами замерли вместе со словами молитвы: *о, Иисусе, прими меня в Своё Сердце, ведь Оно есть место моего успокоения. В Нём хочу пребывать всю свою жизнь и в Нём хочу умереть. Пусть и во сне моё сердце не устаёт говорить Тебе, что я – дитя Твоё. О, Сердце Иисусово, благослови ту искорку блага, что я могла сегодня сделать и уничтожь всё зло, чтобы служба Тебе верой и правдой на земле, могла бы вечно любить Тебя на Небесах. Аминь.*

Она молча сидит, словно изваянная из камня или будто

на фотографии; кажется, что похожий снимок у меня есть, только на нём ещё кто-то рядом. Чтоб теперь – как в детстве – она сказала: причеши мне волосы. Я взял бы широкий гребень из зелёной пластмассы, с одной стороны с частыми, а с другой – с редкими зубьями. Её волосы, тогда ещё заплетённые в косу, которую позже она состригла и заперла в комод, были предметом украшения и зависти для других женщин. Расчёсываю волосы частыми зубьями расчёски – они распрямляются, тогда приходит очередь редких. И если она видела, что я выдираю ненароком волосы, говорила: *видимо, им конец*. Безнадёжно, но и беззлобно, без возмущения или обиды.

Одним словом: *видимоимконец*.

Теперь она уже не просит расчёсывать волосы, да и сама расчёска из зелёной пластмассы давным-давно пропала – или обратилась в дым, когда я конструировал ракету, которая так и не оторвалась от земли ни на сантиметр.

И хоть крепко сжатые губы не двигаются, могу поклясться, что слышу будто тихую молитву, будто вздох, будто причитание, застрявшее на губах, просачивающееся сквозь зубы, сказанное только для себя: *крест ты, крест зелёного дерева*.

Крест – когда даже с нацепленными на нос очками не попадала ниткой в игольное ушко...

Крест – когда с горы пьяным прируливал старший...

Крест – когда сухой кашель острыми когтями разрывал грудь, и нет от него отдохновения, нет и свободного вдоха...

Крест ты, крест зелёного дерева, когда чувствовала себя никчёмной и никому не нужной...

Выслушал эту молитву, не внесённую ни в один молитвенник, эти причитания, вздохи, рвущиеся из крепко сжатых губ – или это навеки записанная звуковая дорожка среды домашних вещей, а может, только остаток на вымытом дне реки моих воспоминаний, и подумалось: наверно, то, что я смог услышать – услышал. Снаружи всё стало на свои места: пели птицы, ежедневные звуки заполнили улицу, хлопали двери домов, а внутри – настенные часы, вспомнив о своих обязанностях, начали потихоньку вращать стрелками в надежде догнать упущенное время; торжественно задребезжал холодильник, замораживая сложенные внутри продукты; а комнатные

бегонии, переглянувшись пушистыми листьями, принялись расти дальше. По избе ходили люди; слышались громкие разговоры и топот шагов, хоть доски пола молчали, как и она сама.

Тогда я понял, что благословенное и редчайшее мгновение, когда ты остаёшься один и можешь погрузиться в медленные широты времени между пологих будничных берегов текущей реки воспоминаний, закончилось.

Ожидание

Ждать осталось недолго. Чтобы это время не увеличилось, не ожесточилось – несколько советов для этого мгновения, как легче провести время. Оно бежит быстрее, когда что-нибудь считаешь. Например, секунды, шаги, светлой ночью – звёзды, бессонной ночью – гвозди в потолке, прохожих – мужчин и женщин – по отдельности, марки автомобилей. Легче всего считать стационарные объекты: деревья, дома, корешки книг, тротуарные плиты, электростолбы, дорожные знаки, волосы на затылке соседа, и тому подобное.

Удобно считать своё, но желать чужого.

Очарование ожидательного счёта или счёта ожидания кроется в том, что не надо никому давать отчёта за пересчитанные вещи. Ни тому, кого ожидаешь, ни их хозяевам. Ни в свободной форме, ни по бланкам строгой подотчётности.

Бывает, что ожидая нет возможности считать, потому что приходится стоять на месте и переминаясь с ноги на ногу, давя своим весом на земную поверхность. Потому увеличивается земное притяжение, незаметно начинаешь лениться, а когда в лицо или в затылок прогремит: следующий, то не можешь даже подвинуть сто пудов весящего тела.

Новый Год привлекает тем, что ожидаешь его, полный надежды, которая везде, в том числе и твоя... мать, поскольку с наступлением праздника обязательно смоются накопившиеся обиды; но Новый Год приходит не топая по полу, не сотрясая воздух – и в себя приходишь ещё с более тяжёлым рюкзаком обид.

Ждёшь, пока дурак прекратит откалывать свои шутки, но в королевстве кривых зеркал дурак становится королём, а ты – дураком.

С нетерпением ожидаешь подарка судьбы, хотя и знаешь, что ничего не получишь.

Ждёшь стоя, сидя, лёжа, гуляя; а вися есть надежда дож­даться ещё нескольких мгновений.

Ждёшь жену, друзей, но чаще всего – манны небесной от­туда, где её давно не осталось, поскольку её разделил между собой избранный народ.

Ждёшь денег, заработанных честно и нечестно. Кровавым потом и лёжа под грушей.

Ждёшь счастья. Это наиболее долгое ожидание – от перво­го младенческого крика до до последнего выдоха перед тем, как закрыть глаза.

Ждёшь, что протрезвешь, но почему-то с течением време­ни пьянеешь всё больше.

Ждёшь, когда же твой ближний перестанет валять дурака, чтобы его искривлённый разум озарился светом премудрости – но только лишь он закрывает свой чемодан и перестаёт гре­меть костями, как ты сам начинаешь валять дурака.

Ждёшь, когда же твой ближний перестанет оказывать на тебя давление, а он, как ни в чём не бывало, перебрасывает ногу на ногу.

Ждёшь автобуса, троллейбуса, такси, но только не ката­фалка – пусть даже запряжённого восьмёркой вороных.

Ждёшь хорошей погоды, а дождавшись её – ждёшь дождя. С приближением зимы ждёшь первого снега, который бывает белым, как при Сметоне*, твердый и приятно хрустящий. Ко­гда он становится затоптанным ботинками, обосранным соба­ками – ждёшь, когда же он растает. А когда он тает и оказыва­ется ещё больше собачьего и человеческого дерьма, то ждёшь первой травки, чтобы она всё скрыла. Когда появляется пер­вая трава – ждёшь, когда же её скосят... и так с самого начала...

Ждёшь ранней картошки, поскольку старики в деревне, всегда имеющие избыток здравого смысла и редко – здоровья, говорят: только дождётсяся свежей картошки, так можешь сказать, что прошёл год.

Ждёшь первого сына. Дождавшись его снова ждёшь, когда же он займет жену – желательно с квартирой.

Ждёшь нового извива карьеры – наверх, конечно, – так как ты этого заслужил. С годами эта святая уверенность усиливается.

* президент Литвы в 20-х годах XX столетия (прим. перев.)

Ждёшь пенсии – а только её дожидаясь, так немедленно чувствуешь себя двадцатипятилетним, только в двадцать пять раз умнее, нежели был когда-то.

Постоянно, безостановочно, безустанно ждёшь, когда же выиграешь миллион – хотя часто забываешь купить лотерейный билет.

Ждёшь, когда окружающие тебя образумятся; самому же, кажется, ума дано с избытком.

Во время звездопада загадываешь желание и ждёшь падения звезды – и засыпаешь, позабыв о желаемом...

Ждёшь, когда за грехи и заблуждения Господь начнёт карать человечество, тогда как самому кажется, что ты заслужил только прощения.

Ждёшь телефонного звонка, хоть аппарат не подключен к сети.

Ждёшь, когда же позовут на сцену, хоть театр давно сгорел.

Утром ждёшь вечера, ночью – утра, и так по когда-то заканчивающемуся кругу.

Если рано облысел – ждёшь, когда в одно прекрасное утро проснёшься с густой шевелюрой.

Если вовремя выпали зубы – удивляешься, почему же они выпали раньше времени и ждёшь, пока вырастут новые.

Ждёшь, пока желудок переварит отличный обед, клянясь в следующий раз есть поумереннее.

Ждёшь, когда придёт сон – а он стоит у тебя в головах и легонько почёсывает глазки, насмехаясь над тобой.

Ждёшь, когда закончатся ночные кошмары и ты вернёшься в реальность нормальным гражданином, права которого защищает – а может, и нет – только конституция.

Ждёшь, когда сосед перестанет терроризировать свою жену – тогда, спокойный оттого, что не зацепили тебя, идёшь спать.

Ждёшь, пока собственная жена проглотит свои необоснованные упрёки, тогда спокойно идёшь спать.

Ожидаешь власти, которая, наконец... наконец...

Радуешься приходу каждого нового правительства, пока, в конце-концов, не теряешь надежду...

И всё это время, пока живём – от первого младенческого крика до последнего выдоха – ждём мудреца, могущего уверить нас, что ждут только дураки, умные – берут сами.

Знамение, которого ожидал

Утро как везде: за окном чирикают воробьи; грязная и оранжевая страшила-дворничиха с падающим на глаза байковым платком и обслюнявленным окурком в углу губ упорно скребёт метёлкой замусоренный тротуар. Всё в том же месте – под самым моим окном. Самые старательные, широко зевающие и протирающие сонные глаза, спешат на работу или к другой известной им цели. Солнце из всех сил пытается пробить броню серых облаков.

Природа не посылает никаких знамений, которые подтвердили бы, что сегодня случится то, чего я так ждал долгие годы, бессонными ночами видел на экранах закрытых век и ожидал. Прилежно собирал материалы, исследовал все дороги, ведущие к цели, каждую улочку, каждый дом – увы! – каждый тёсаный уличный камень, планировал каждый шаг. Не хватает силы и истины в себе – следует думать и о путях отступления или о непредвиденных обстоятельствах.

Кажется, всё сформировано, сложено на полки с разноцветными приписками, но было бы куда спокойнее, если бы природа особенным знамением благословила мой выбор.

Завтрак ем коренными зубами и последний кусок в горле не застревает, хоть в туалете плещет струя с силой горного водопада; на столе – вода в позеленевшем графине, рядом – стакан с обгрызенными краями, из которого живший до меня постоялец гостиницы смаковал нечто особенное. Тараканов, блох и другой живности не видно. Жаль, мудрецы древности любили по ним гадать. На стене медведи Шишкина в засиженной мухами раме ползают по стволам деревьев, как и в детстве на конфетных обёртках.

Непонятное течение времени замирает – осознаю это, услышав по трещащей радиоточке нудным голосом зачитанные новости. Пока я спал, в этом лучшем из миров, похоже, ничего не

произошло: вместе со мной отдыхали и крутые политики; между своих бомб, ракет и пушек спокойно себе дули в ус всегда жаждущие крови генералы; беспечно дремали террористы всех мастей; посапывает даже Сицилийская мафия, положив под голову могущественные щупальца; лишь фабрики, заводы и другие сконструированные крепостным для пана из сказки механизмы по продлению дня стабильно выполняли план, но об этом было сказано словно между прочим, поэтому суть не менялась. Даже прогноз погоды не показывал течения времени: «непостоянная облачность без особых осадков...» Как и вчера.

Подозрение вызывает лишь дежурная гостиницы, когда, спустившись по протёртым до дыр покрывающим лестницу коврам, прохожу мимо неё, будто бы надев шапку-невидимку – стеклянный взгляд пронизывает насквозь и ни одна мышца или другой орган поблёкшего лица не выдаёт, что женщина меня видит.

Хотя вряд ли похоже это на знамение...

До мелочей вызубренным маршрутом медленно топаю к цели. Никто не гонится, никто и не следит – только встречные будто сговорившись отводят глаза в сторону. Словно от прокажённого? Или осуждённого? – внезапно думаю. А может это – знамение, которого ожидал. Вряд ли! Вернее всего – проявления надоедающих будней. Другое дело, если довелось бы встретить духовного, не смирившегося с неизбежной судьбой человека.

Приближаюсь к железнодорожному мосту, который покоится на выдержавших века металлических подпорках, перекрытыми прохудившимися досками. Глазeya под ноги, чтобы не угодить в щель, успеваю заметить с вышины моста открывшийся соцреалистический пейзаж: из чёрных труб поднимаются небо разъедающие клубы дыма, сияют струны начищенных рельсов, по которым туда-сюда снуют маневренные паровозы. Доски трещат под ногами. Убеждаю себя, что это не подмостки эшафота – но и не триумфа.

Подхожу к перекрёстку, такому милому и защищённому; кажется, вся жизнь тут пробежит, слепо выполняя волю безжалостного светофора. Красный свет будет знамением, думаю себе, но, подняв голову, вижу все три неживых глаза. Некому регулировать мою волю – иди, куда хочешь, лишь не забудь осматриваться...

Тёсаные камни мостовой, отглаженные гусеницами тан-

ков и тракторов, почивают под неровно залитым асфальтом и только в выбитых местах застенчиво показывают до блеска натёртые спины.

Путанные улочки ныне одеты в современную одежду, которая, по сравнению с прошлой, похожа на нарисованный павлиний хвост: запылённые, потемневшие силикатные кирпичи, треснувшие блоки; местами, лишь бы подальше от улиц, во дворах спрятались точно пристыженные постройки из красного кирпича. Для меня они – словно цветы в хаосе силиката и бетона. А может, мусорки?

Лабиринт улочек заканчивается – приближаюсь к цели. Сильно зажмуриваюсь, желая на экранах век увидеть стольжданную и много раз виденную картину. Удаётся не сразу – застилает серая, нечистая будничность, а может, страх отчаяться от неудачи?

Это занимает мгновение, а может, вечность – время перестаёт существовать.

И внезапно я зрю её во всей красе – с поддерживающим небеса шпилем башни, контрфорсами, карнизами, апсидедами, с арочным порталом, дверями из почерневшего резного дуба, кованными металлическими украшениями. Сейчас коснусь их рукой.

Неожиданно кто-то толкает в спину; чуть не падаю, но не открывая глаз иду вперёд, словно слепой с вытянутыми перед собою руками, сопровождаемый вслед многоэтажным русским матом.

Наконец-то! – понимаю, чувствуя ноздрями тепло накалённых на Солнце красных кирпичных стен и с силой толкаю тяжёлые дубовые с необычными письменами двери, которые беззвучно распахиваются, поскольку моя рука рассекает воздух. Шагаю внутрь, спотыкаясь о железяки, пустые консервные банки, раздавливая осколки стекла... Вместо дышавшей серьёзностью святилища прохлады в нос ударяет вонь.

Замираю, словно в столбняке, и медленно поднимаю веки, стирая вид Собора.

Стою внутри неё, открывшейся небу под лавиной огня и металла, беспощадной силы разрушения.

Не давит лес грациозных колонн, высоких куполов, поскольку над головой – чистое небо, в котором кругами кружит белая птица.

Словно чудесное знамение, которого ожидал.

Кран

Написать новеллу о банальнейших бытовых вещах не удалось ни одному, даже признанному новеллисту, а мне, хоть лупи железной линейкой по рукам, хочется. И то, о чём я томлюсь рассказать, не бытовые отношения, где словно в пепле может воссиять какая-нибудь жемчужина или бриллиантик, в зависимости от того, чьи отношения собираешься предать гласности, а вещь. Мало того – это водный кран, назначение которого безотказно служить человеку! Не по своей, а по воле хозяина пускать или не пускать воду. Не капать, не рычать, не завывать и тому подобное. Вещь должна быть с гарантией, что заплатив пять, десять или сто литов какое-то время не чувствовал бы её приобретения. Или наоборот: каждое утро, приходя в ванную смыть вчерашнюю тяжесть, глазами нежно обласкать его хромированную поверхность, чтобы кран, согретый твоим взглядом, ожил – и даже ответил на улыбку.

Дави не надавливая, только поэзии со всеми её методами, школами и средствами тут маловато. Ваннйй кран пусть своей формой походит на нечто живое, пусть и вызывает своеобразные ассоциации, которыми любят играть несозревшие поэты, для меня был лишь разумно завёрнутый кусок металла с нарезками и резиновой прокладкой, покуда однажды не взял да и не начал капать. Терпел я день, другой, неделю, месяц – и, потеряв терпение, начал действовать. Интеллекта, чтобы понять такой сложный механизм, разумеется, не хватало – поэтому, несмотря на протесты семьи, перекрыл воду во всей квартире и кран с характером или дефектом отнёс показать Чезику, который своеобразно разбирается во всех механизмах. От шурупа до компьютера. Слово «своеобразно» я употребил неслучайно, поскольку Чезя, недолго возясь, действительно находил не причину, а брак вещи. *Видишь*, говаривал он грустно покачивая головой, *немцы* (или японцы, англича-

не, французы, американцы) о такой мелочи не подумали. И, не теряя времени, принимался сверлить, стучать, исправлять, даже сваривать металл. Вещь после этого ещё какое-то время работала, лишь потеряв при этом свой эстетический образ, так как мастер, безжалостно её отделявая, не только сдирал краску, но и облеплял всевозможными дополнениями.

Чезя ютился в чудесно сохранившемся со старых времён павильоне по скупке тары, который был насквозь продуваем ветрами – металлический каркас обит резными деревянными пластинами, но мастер успешно защищался от холода, когтистыми руками сконструировав несколько утеплителей. Пожарник, завидя их, расплакался бы на месте и забыл бы выписать квитанцию на штраф. У соседей, живущих в выросших вокруг многоэтажках, не было дурного глаза – они не только толерантно относились к Чезиному бытию, но и обеспечивали его существование. Чудак, проживающий рядом, не создавал проблем, наоборот, решал их, поэтому люди тащили к нему все испорченные орудия. Исправишь – вернёшь, не выгорит – выбросишь. Но мастер, не удалив дефект сварочным или другим аппаратом, и даже побуждаемый хозяином выбросить агрегат в стоящий неподалёку мусорный контейнер, не спешил с ним расставаться, поэтому вещи в павильоне скапливались в геометрической прогрессии, пока однажды скирда, сложенная из старых велосипедов, пылесосов, сковородок, детских колясок, автомобильных глушителей, крыльев, бамперов и прочей рухляди и их частей, не похоронила под собой мастера. Дети, игравшие неподалёку в свои игры, услышав зов о помощи, скорее жалобу, позвали взрослых и освободили Чезика.

Кран был ещё советских времён, русский или белорусский, а мастер любил подчеркнуть: вот русские – умели делать без причиндалов, зато сколько такая вещь служит! Но, лишь взяв в руки несчастный кран, вынес приговор: нет ничего вечного. *Может, как-нибудь...* неуверенно начал я. *Никак!* Отрезал Чезик. *Ничем не могу помочь. Металл сносился.* Слово мне понравилось, так как мастер вдул в неживой предмет душу: металл носится, покуда не сносится. Не понравилась суть. Где взять другой кран, ведь дома сидит немывшаяся и непившая семья и, скрипя зубами, ждёт от меня уверенных шагов. *Ничем не могу помочь,* развёл руками Чезюкас ещё раз, *у меня все краны*

европейские. Неужто вы в своей сокровищнице не найдёте? Удивился я, оглядывая пространство павильона, наполненное всякой дребеденью. *Кто его знает*, мастер почесал затылок, *хмм...* Я знал – он не был деньголюбом или бесчувственным гордецом, мог – сразу бросался помогать человеку. На этот раз был каким-то неуверенным. Может, травма дала себя знать? Неужели все, ещё не дождавшись, пока примут в Европейский Союз, уже поменяли краны? Пытался пошутить, но неудалось, поскольку мастер лишь грустно взглянул и виновато улыбнулся. Окончательно замешался и уже думал идти себе, когда, наконец, услышал: *погоди минутку*. И Чезя исчез в лабиринте скирд и пирамид. Ещё не полностью продались Европе, вздохнул я с надеждой. Быт меня угнетает. Другому, возможно, удовольствием размахивать сантехническим ключом, подкручивать краны, гайки, ремонтировать замки, утюги, пылесосы, регулировать телеантенны, вычищать бритвенные машинки, чистить конфорки газовых плит, пытаться будить заснувшую программу компьютера и тому подобное. Все такие работы по мне – попытка просить прощения у мертвеца. Пардон, звучит чересчур сильно. По-другому не умею. Вещь – нежива сама по себе, а то время, за которое она беспрепятственно исполняет свои функции, не может именоваться её веком жизни. Честно говоря, я уже запутался, поскольку если она, функционируя, уже есть неживая, так какого... становится испорченной? Ладно, сделаем сравнение, которое не имеет ничего общего со здравым смыслом и, скажем, что вещь, из чего бы она не была сделана, куда беспрепятственно работает, имеет, хоть какую-нибудь, но душу. Не человеческую, а вещественную – железную, пластмассовую, деревянную субстанцию, относительно называемую духом вещи. Когда вещь портится, дух испаряется. Согласен со всеми возражениями и сразу отрециваюсь от психиатров, которые попытаются меня приютить, но поразмыслим спокойно, без эмоций: если вещи становятся нашей самобытностью, не могут ли они хоть немного стать живыми? Подумали ли вы хоть раз, что глубокой ночью поделявает ваш холодильник, когда никто не хлопает его дверцами?

А стул, который не давит ваша задница?

Посуда, которую не пачкают жиром ваши яства?

Полы, которые не мнут ваши ноги?

Что отражают зеркала, которые японцы именуют символами познания?

Ночью из всех ваших вещей у одной лишь кровати есть занятие. Правду сказать, днём ей делать нечего.

Всё кажется просто, никакой поэзии. Ведь вещи созданы для служения людям. Некогда вместо них эту чёрную работу для власть имущих исполняли другие люди – рабы, позже – слуги. Но если согласимся с предположением фантастов, что выше нас находится более совершенная цивилизация роботов, так нетрудно понять, что они, определяющие наши судьбы, на нас, людей, и живых, и с душами, смотрят точно так, как мы на вещи – пока жива, то есть действует, до тех пор имеет нечто такое, а сломалась – и всё испарилось. Даже голубовытой дымки не осталось.

Проблема крана стала глобальной, увы! Межвселенская, даже не знаю термина для характеристик такого уровня, но говорю ещё раз: меня угнетают бытовые неполадки. Плюнул бы на всё да пошёл, куда ноги ведут. Только в какую сторону? Где нет вот таким межгалактических проблем, на острие которых – капающий кран. Не нос, а кран. Согласно Чезе, отдавший дух. Хоть прямо он этого и не говорил. Но это можно было прочесть между строк. Следя за сыплющимися здесь мыслями, нетрудно заметить, что болтовня не есть тяжёлое занятие, вместо того, чтобы взять в руки ключ сантехника или, в конце-концов, отрядив на это сотню-другую литов, начинаешь болтать о межвселенских отклонениях. Нетяжело проследить, что эти отклонения возникли прямо здесь, в твоей голове. Ладно уж, коли шатаюсь среди пирамид майя, шумеров, египтян и других древних цивилизаций, сложенных из всякого барахла, выныривает Чезюкас и, зацепив плечом какой-нибудь предмет, едва успевает отпрыгнуть в сторону. Поглядев на гулко падающие на землю вещи лишь грустно махнёт рукой – и протягивает кран. Как бы вам это помягче сказать? Не обрадовался я, увидев в его руке вещь, которой так желал: кран не был новым, ясно само по себе: ведь палатка Чезика не являлась филиалом „Senukai“.* Мастер протянул мне усыпанный бурыми пятнами кран. Единственный. И действующий. *Смотри,*

* одна из крупнейших торговых сетей стройматериалами в Литве (эквивалентна «Росстрою») (прим. перев.)

зачем-то тихо прошептал он и, приложив к губам один край, дунул. Послышалось глубокое ауканье – таких звуков полно в мистической музыке. Меня сотрясла дрожь. *Но ведь он... Заржавел?* Закончил мастер. Ерунда. Прямо сейчас прочистим! И действительно: несколько быстрых движений – и кран уже таинственно засверкал хромом. Оставалось заплатить оговоренные десять литов и радоваться удачной сделке. Если бы не это мистическое ауканье, которое напугало не на шутку. Но сдержанный комплимент жены, когда я вернулся домой и прикрутил на место кран, окупил всё.

Упоминал вначале и теперь повторю, что писать о мелких бытовых нескладухах – бессмысленно, так как в кране поэзии не разглядел бы даже поэт, воспевающий индустрию. Только не в моём кране. Странно, но жена, замечая пылинку там, где её не разглядишь даже с микроскопом, не обращала внимания, что прикрученный кран Чезика начал вздыхать. Будто был жив и обо всём сожалел. Я не преувеличиваю, могу предъявить справку психиатра, что нахожусь в полном разуме; но всякий раз, вымыв руки или лицо, закрывая кран, слышу его вздыхания. Глубокие, своеобразно милодичные, словно из творения мистической музыки. Такой звук кран издал, когда в него подул Чезюкас. Я даже начал думать, что тогда мастер вдул неживой вещи душу. Но может ли такое быть? Жена слышит звуки другого диапазона, поэтому ничего не говорит о кране Чезюкаса; а я, пусть с неким страхом, терплю. Своеобразно интересно, а если однажды эти неартикулированные звуки превратятся в понятные мне слова? Ведь иногда так охота с кем-нибудь поговорить!

Перекрёсток

(Новелла из цикла «Путешествия с классиком»)

Дружище Яронимас, которого я в насмешку называл классиком, предложил встретиться на перекрёстке, ещё с вечера позвонив по телефону. Противоречить я не осмелился, хоть и желал встретиться не на в голом поле лежащем перекрёстке, но возле городской кафешки, где, попивая кофе, надеялся обсудить маршрут пути, поскольку классик, едущий впереди, ни с того ни с сего сворачивал в сторону, останавливаясь почти возле каждого камня или старого дерева, отыскивая в них, говоря его словами, сакральность. Я же, напротив, не был настроен искать то, чего не терял и, безусловно доверяясь описаниям туристических маршрутов, не думал обнаружить неописанных чудес. Так было почти каждую поездку. Море напрасно потерянного времени на дёргания, метания – и надежд на чудеса, которые, как известно, произошли до нас. Яронимас был настоящим классиком, хоть и хмурился от такого прозвища. Врождённая скромность с желанием её подчеркнуть. Не без приключений объехав большую часть Литвы, потолкавшись по болотцам, взбираясь на городища, обследовав городки с ритуальными камнями, на которых будто бы приносили в жертву людей, последней дорогой того лета мы запланировали пообсмотреться среди соседей-поляков, поклониться епископу Баранаускасу, пусть и немому, вытесанному из украинского гранита. Дату поездки Яронимас всё откладывал, списывая на немощность. Я потешался над ним, а он молча проглатывал глупые шутки о мужском климаксе или что-нибудь более идиотское.

Всё было бы хорошо, если б я не проспал сигнал будильника; затем – безумная гонка, нарушающая все правила дви-

жения и неподвижности, и печальное осознание, что день, начавшийся без чашки кофе, может закончиться неважно. Почему надо было встречаться у перекрёстка на широтах полей, спрашивал себя уже в который раз. Ответ Яронимаса был мне известен: это место почти идеально, метров на десяток отстоит от них и наших домов. Я в это не углублялся, не стал мерять шагами расстояния, поверил, однако был ещё бесконечно несчастен и потому, что должен был подчиниться воле другого. А мимо проносились чужие жизни: рядом с едва держащимся домом, неловко залатанным, с ввалившейся крышей, вокруг кривой яблони с обломанными ветками крутилась одетая в лохмотья старушка; подворье дома, сияющего пластмассовыми окнами и досочками, уставлено посаженными в решётках, корытах или бочках цветами, будто приспособленными к пустым, насквозь высмотренным, потерявшим все надежды окнам, вырубленным по новым принципам навороченной архитектуры и разрушаемых или разрушающихся домов. Чужие жизни мерцают и сменяются словно в калейдоскопе, лишь успевай смотреть. Самое интересное, что мгновение, когда они попадают в поле твоего зрения, ничего не значит – ни им, ни тебе. Едешь – и проезжаешь, а они – были и остаются. Кто знает, может люди, жизнь которых замечаешь, проносясь мимо них со скоростью в несколько десятков, а то и более сотни километров в час, успевают почувствовать любопытный, а иногда – равнодушный взгляд? По правде говоря, мне всё равно, а им – и того более. Живущим у обочины дороги проносящиеся мимо должны быть безинтересны, поскольку их орбиты вряд ли когда пересекутся: одни – исчезают вдали, другие – остаются в придорожной пыли.

Жена, столь же несчастная без чашки утреннего кофе, напрямжённо смотрит на дорогу. Впрочем, она примирилась с неудобствами, и иногда внезапно восклицает: ах, какая красивая птичка (башня, дом, дорога, облако и ещё сотня других вещей)! Лениво поворачивая голову в ту сторону частенько не видишь ничего необычного, поскольку эти красоты уже неоднократно были видимы и оценены. Но по большей части её внимание поглощено дорогой, а я пасу глаза по окрестностям. Мне нравится наблюдать за чужими жизнями, даже теперь,

когда в висках стучит пневмомолоток, челюсти, поскрипывая, невольно широко раскрывают рот для зевка, глаза слезятся, а в мыслях – ругательства: не мог с вечера подумать о кофе. Но кто мог предположить, что классик, будто сознательно скрывая место встречи до последнего момента, назначит его в чистом полюшке, а не там, где обычно – где дымится кофе, пенится пиво и неспешны речи местных пьянчужек. А под конец разговора, даже не слушая несмелого противоречия, словно между прочим ещё сморозил: ведь не боишься, что на перекрёстке встретишь нечистого...

Отвратительно чувствовал себя ещё и потому, что боюсь перекрёстков. Говорят, что на них встречаются миры: сей и потусторонний. Не спешу верить. Может, встречаются, а может и нет, но мне на перекрёстках приходилось встречаться с этим, реальным миром и его жителями не при лучших обстоятельствах. Однажды я заблудился, так некий солидно одетый человек уверенно показал «нужное» направление – и мы проехали с полсотни километров в противоположную сторону. Бывало, что на перекрёстке поджидал кто-нибудь уставший, которого надо было подбросить домой, которого якобы ограбили попутчики и оставили на произвол судьбы; но, доехав лишь до ближайшего леска, несчастный внезапно перевоплощался в Тадаса Блинду* и, угрожая оружием, отнимал последние грошики. Надо ли говорить, что всякий раз в течение полугодия после случившегося мы время от времени сцеплялись с женой: в ком из нас возникла жалость к уставшему бедняжке?! На перекрёстках можно стать жертвой безумного или подвыпившего водителя, поскольку это – опаснейшие места на земле, в которых водители теряют бдительность, ориентацию и, при случае – здравый рассудок. Забыл добавить, что назначенное классиком место встречи – перекрёсток – именовалось Бермудами и славилось всякими историями. Например: некий человек по прозвищу Мацукас говорил, что как-то туманным утром встретил на перекрёстке четвёрку чёрных катафалков, за лобовыми стёклами которых были вставлены фото усопших в чёрных рамочках, перевязанные чёрными лентами. Как надлежит встретившему похорон-

* Предводитель жямайтйских разбойников (1846–1877 гг.) (прим. перев.)

ную процессию, человек сдёрнул кепку и, опустив очи долу, принялся бубнить «Вечную память». Катафалки, а это были длинные и сверкающие заграничные машины, не двигались с места, будто поджидая, когда Мацукас закончит молитву. Тот беспокойно поднял взгляд – и увидел, что все четыре машины везут одного и того же усопшего, то есть за лобовым стеклом находится фотография одного человека. Ещё мало чудес: ведь это была фотография соседа Мацукаса Дагиса, которому он около часа назад пожелал доброго утра!.. Вернувшись, нашёл соседа уже обмытого. Инфаркт. Хочешь верь, хочешь – не верь... Много кто этому не верил, поскольку обычно в видениях Мацукаса были белые кони, а здесь – чёрные машины. Во всей истории, правда, было два неоспоримых факта: Дагис действительно помер, а Мацукас – бросил пить. Правда, ненадолго.

В неудачный день и час голова загружена неудачными мыслями. И не только ими. Обстоятельства от них также не отстают. И вот теперь, когда до места встречи осталось несколько километров, нас начинает преследовать огромный как гора грузовик с российскими номерами. Он приблизился на высокой скорости и, мигая всеми фарами, предлагает нам убраться с дороги. Кто знает, что осталось бы от нас да автомобиля, если б он надумал пойти на таран... Блинчик с начинкой. Жена, вцепившись в руль, не намерена сдаваться. Аргумент неоспорим: еду на максимально допустимой скорости и у него нет права... у него есть масса, величина, а ума – нет, кричу едва не в пене. Признаюсь: в критических ситуациях начинаю царапаться, но не ногтями, а словами. Только от этого не менее больно. Призрак не отстаёт ни на шаг; видит Бог, если б перед нами возникла непредвиденная и надо было резко тормозить, масса в двадцать тонн без задержки подмяла бы под себя нашу Агилу. Всё закончилось как и началось – неожиданно грозный преследователь не вынырнул из-за подвернувшегося поворота. Может остановился, может врезался в дерево, нам – всё едино, поскольку цель – впереди. Возвращаясь назад, сможем остановиться и посмотреть, почему грузовик остался за поворотом.

Цель – то есть Бермудский перекрёсток – неудержимо приближался, осталось несколько километров, но, словно по

заказу, поднялся туман. Я люблю туман вечерами, когда на перегонки с сумерками он медленно пожирает сперва высокие деревья, после – кустарники, пока всю долину заполняет таинственно-серая завеса, поделившая пространство с тьмой. В такое время чудеса, перед восходом солнца, туман уже должен растворить, теперь лишь он поднимается. Сначала в низинах, местами его лоскуты уже достигают дороги, носятся, размётываются свистящими мимо автомобилями, но неудержимо свиваются в паутину, густеют. Жена снижает скорость, поскольку впереди обзор – не более полусотни метров, а дорога словно трасса ралли – поворот за поворотом, за которыми – ещё повороты. Беспokoйно взираю в зеркальце заднего вида, не увижу ли с безумной скоростью вынырнувшего из тумана двадцатитонного чудовища. Главное – не проскочить несчастный перекрёсток, так как моя навигация подпитывается предчувствием, шепчет, что мы приближаемся к месту встречи.

Туман не рассеивается, когда мы выныриваем в чистое поле. Откуда он взялся? Почему именно теперь, когда так незадался день, что должен был стать праздником? Поскольку встречи, особенно выезды с Яронимасом, всегда праздник. Не только потому, что лестно побыть в тени известного деятеля, искупаться в лучах его славы, порисоваться перед знакомыми, у которых текут слюны от зависти... Особенный человек, каким является классик, в отличие от простых живущих, распространяет вокруг себя сильное поле, которое светит и очищает, поднимает и погружает. Проще говоря, каждая встреча с классиком сродни хорошей бане, не такой, которая смывает лишь земную грязь. Побыв с ним, видишь и понимаешь массу мелочей, о бытии которых раньше даже не догадывался, или не придавал им значения, без которых жить можно, только жизнь такая походит на бессмысленную трату времени в чистом поле. Очарование классика не в проповедях, которыми он сыплет будто конфетти, увы! Не помню ни одного дидактического совета, но сам факт бытия... Кажись, так и хочется повторять его движения, краткие, но глубокие мысли, даже ломаную походку, мягко и осторожно передвигая ноги. Словом, классик был очарователен во всём, не забывая о его отвратительных чертах характера и привычках постоянно бубнить, менять планы и нарушить плавное течение дня.

Остановились на обочине, в добром метре от асфальта, включили необходимый свет, чтобы в подобном тумане мог увидеть и слепой водитель. Некоторое время царил абсолютный покой, не говоря о шелесте тумана. Да, туман издаёт звуки, надо лишь хорошенько вслушаться. За это знание я должен быть благодарен классику и никому другому. То была одна из упомянутых мелочей, на которые он мне указывал. Как может шелестеть туман – осталось загадкой из дешёвого фильма ужасов с его чудищами. Впрочем, не люблю ни дорогих, ни дешёвых фильмов ужасов, если когда и смотрю, так только созданные по Кингу, поскольку тот не пересаливает с глупыми и наивными пугалками. А туман воистину шелестит, не пугающе, не ужасающе, а скорее уютно. Теперь, опустив стекло, слушал этот шелест, пока тишина не взорвалась рёвом. Чудище-грузовик, оставшийся за резким поворотом, развеял туман, рассёк как молоток воду – и замер перед нами. Поднимаю голову вверх – и вижу прилипшее к стеклу лицо. Кажется, что это не человек, а лишь бумажный портрет к стеклу приклеен. Иногда дальнбойщики пишут имена, на фотографии за стеклом я видел только на катафалках. Лицо побелевшее, глаза лезут из орбит. Не понимаю – это лицо водителя или пассажира, а чудище время от времени рычит зверским голосом. Говорю не как водитель, так как последний сказал бы: дави на газ. Лошади в подобной ситуации бьют копытом землю. Не ясно, чего ждёт водитель чудища, так как укутанный густым туманом перекрёсток пуст. Взвыв, будто перед смертью, чудище рвётся на перекрёсток, но слышится пронизывающий до костей выдох тормозов: в перпендикулярном направлении на всей скорости проносится длинный как паровоз грузовик, усыпанный лампочками, светлячками сияющими в тумане. Чудище, ещё некоторое время вздыхая, несётся вослед.

Туман шелестит, откинув голову на сиденье пофыркивает жена. Часы на её руке отмеряют время, которому всё равно, чего ждать: триумфа или эшафота, мгновения лжи или истины, рождения или смерти. Время к человеку равнодушно, даже наоборот: если очень ждёшь, оно замедляется и ползёт, будто уставший с окоченевшими конечностями, а если хочешь отодвинуть неприятный момент подальше, время

свистит со скоростью экспресса. Оно никогда не замирает: хоть проси, хоть умоляй, хоть проклинай. Вот и теперь: движется, скользит, заговорщицки шепча, минутная стрелка, ведь классик опаздывает ровно на четверть часа. Вновь мысленно ругаюсь, ведь не похороны или свадьба, какого чёрта надо было лететь с выпученными глазами. Для меня спешка – нож у глотки. Жена дремлет, словно добрую часть пути пытается лишь связать чары неожиданно прерванного сна. Заботы, кажись, её не волнуют. На перекрёстке почти ничего не происходит: разрывая завесу тумана выныривает автомобиль, на мгновение замирает, будто желая увериться, что впереди ничто его не поджидает, затем летит вперёд. Прицеливаясь, выбирает неверное направление, поскольку туман облегает не только землю, но и мозги кое-каких людей. Возможно, преувеличиваю. Может, виноват не туман, а возможность выбора не того направления. Многим водителям не хватает неживых, с облупленной краской, пусть и отражающих свет дорожных знаков, ему нужен живой голос – снаружи или извне, который подтвердит или опровергнет необходимое направление. Здоровое недоверие дорожным знакам не одному помогло продлить или сократить путь. Но ведь это нормально, оживился бы классик, у которого своё видение и предвидение. Иногда удивляюсь, почему букву «а» он читает как «б». Издеваешься? Ничуть, вздыхает он. Возможно, такое видение и делает его классиком, так как ни один из моих знакомых читая букву «а» как «а» ещё не стал классиком и даже не думает таковым становиться. Может и хотел бы, только нет никаких данных. Правду говорю. А сам? Всё другие да другие, а сам-то что? Надо бы скромно промолчать, но язык продаёт, потому и говорю: бывают случаи, когда первые буквы алфавита меняются местами. Только это не значит, что я слепо подражаю Яронимасу. Наоборот: это происходит против воли, осознаю это лишь сказав или сделав. Классик также не обвиняет меня в плагиате. Даже удовлетворённо потирает руки. Словно по-человечески радуясь, что не ему одному довелось поскользнуться на ровном месте. Замена букв местами – всего лишь вершина айсберга. Классик отличается от нормальных людей тысячью и одной чертой, которые не описаны в учебниках. О них никому неизвестно,

а было бы известно, классик ходил бы со звездой во лбу. А в том было бы нарушение прав человека. Редкий классик любит выделяться из толпы, поскольку многие полагают, что толпа выделяет их сама по себе, оценивая их заслуги... Наивное мышление, так как толпа, наоборот, старается классика затереть. Будто ненужные сорняки, прорастают, пока не испоганят другие культуры. Агронмия не по назначению. Лоскуты мыслей подражают туману.

Двадцать минут. Даже вздрогнул, так как туман через открытое окно, стекло которого опустил до конца, вслушиваясь в заговорщический шелест, щемит сердце, лезет через приоткрытый рот жены, она причмокивает, словно проглотив нечто вкусное и утирает ладонью губы. Наблюдаю за всем словно в замедленном фильме и думаю, что сегодня не могло много случиться: во-первых, сегодня не может начаться война, сегодня человек не может высадиться на Марсе, сегодня в мире не умрёт ни единое живое существо, а солнце взойдёт ровно через сорок минут и активность его не будет превышать норму. Понимаю, что моё мнение не повлияет на скорость вращения Земли вокруг оси, не остановит приливов и отливов, даже сотен готовых к извержению вулканов и тысяч, а может, и больше, безумцев с заряженным оружием. Мне не хватает лишь одного: дожидаться классика в голубой «*Тойоте*», которой тот гордился, так как до того имел «*Жигули*», затем – «*Рено*», и которые доставляли ему массу хлопот. Первой постоянно не хватало запчастей, а у французской машинки был врождённый дефект двигателя, как говорил сам классик. «*Тойота*» ездила несколько лет – и ни разу не приходилось ремонтировать, хвастался он. Хорошая машина должна служить всю жизнь, говорил я, но классик поглядывал несколько выпученными и, возможно, поэтому проницательными глазами – и у меня пропадало желание подтверждать банальную истину. Не каждому дано постоянно разбрасывать перлы мудрости – возможно, потому, что их полюбили свиньи.

Жена, наконец, перестала сопеть, медленно сориентировалась во времени и пространстве и стала дёргать струны нервов, которые и без её усилий были натянуты. Я заметил: у женщин есть уникальная способность задавать вопросы, ко-

торых никто никогда и не вздумает задать. Говорю о самих по себе ясных вещах, как, например: придёт ли рассвет, взойдёт ли солнце, за средой будет ли четверг? Справляться о том было бы глупо, но женщина ухитряется на это и с невинной миной спрашивает: кто знает, почему за средой должен быть четверг, а не наоборот? Или: ты не слышал может, Сейм уже обсуждает вопрос о дополнительном дне недели? Моя-то так далеко не забрела, потому и пилит: почему не спросил, на каком автомобиле они прибудут? Надо было спросить, намерены ли они опоздать? Мог бы поинтересоваться, этой ли дорогой они прибудут? И, наконец: надо было дать мне трубку, договорилась бы конкретнее. Способность женщин договариваться – это уникальная возможность разрушить ситуацию. Если договаривающийся мужчина в состоянии забыть детали (из-за которых женщины после дёргают нервы) так последние всё скатывают в тяжело распутываемый клубок. А тогда чё хошь делай... Потому претензии, сомнения и обвинения удачно отражаю крепкой стеной тишины, поскольку знаю по опыту, что значит первая искорка. Лишь раскрой рот. Лавины не остановишь! Тихонько открываю дверцу – и выползаю в шелестящий туман, который проглатывает последние слова моей госпожи, о том, кажется, что в будущем обо всём будет договариваться она, поскольку доверить это мне – заведомая глупость.

У ожидания есть грань терпения. Её трудно очертить, нигде не сказано – когда, кто и сколько может опаздывать. Когда, кого и сколько можно терпеливо ждать. Раз за разом – всё по-новому. Сегодня грань терпения в ожидании мы уже перешагнули. Не потому, что в автомобиле кипит, пузырится, безостановочно поучает, обличает и указывает жена. Даже не из-за часов, убежавших на добрые полчаса от назначенного времени. Всё вместе – и чувство, которое охватывает вместе с холодно-мокротой накидкой тумана. Придорожные деревья и кустарники, обретшие в тумане контуры привидений, даже множество отмечающих перекрёсток дорожных знаков на все случаи жизни, утеряли в тумане свою форму и смысл. Туман лезет в глаза, в рот, шелестит в ушах, но не заглушает гудения автомобиля, который, пусть и медленно, но приближается к перекрёстку.

Покрутив головой словно локатором вскоре понимаю, что автомобиль приближается именно с той стороны, откуда должен прибыть классик. Сделав ещё несколько шагов, замираю у обочины с радостью, что ожидание закончилось и мы сможем, в конце-концов, завершить лето как и подобает. Гудение, заглушаемое шелестом тумана, приближалось. И тогда случилось то, что ни в тот момент, ни до сих пор не могу понять: сперва из лоскутов тумана показался передок автомобиля классика, а следом в кармане зазвенел мобильный; клянусь, это была его «Тойота», хоть госномера рассмотреть не успел – поскольку стал выкапывать телефон, который после нескольких сигналов умолк. Машина медленно проплыла мимо, в прямом смысле этого слова, так как едущий автомобиль сцепляется колёсами с асфальтом, этот же не касался колёсами земли, во всяком случае мне так показалось. Мало того: в кабине «Тойоты» не было ни живой души! Распинайте, обвиняйте в Страсбургском суде, но клянусь: проехавший мимо меня пустой автомобиль классика повернул в направлении пограничной заставы! Я прыгнул в свою машину и распорядился жене следовать за «Тойотой».

– Какая ещё «Тойота»? – спросила жена. – Приснилось? Никто не проезжал.

Н-да-а-а-а... То ли равнодушно произнесённые ею слова, то ли шелест тумана несколько охладили меня. Вытащив мобильный телефон, увидел пропущенный номер. Это был номер классика. Попробовал связаться. Увы. Трубку никто не брал, а минутой позже механический голос оператора сообщил, что данного номера не существует. До сих пор пытаюсь связаться, увы, лишь несколько сигналов – и голос оператора...

Содержание

Речь	3
Глаза	9
Вечер на скамейке	14
Песнь косы	19
Мгновение	24
Ожидание	30
Знамение, которого ожидал	33
Кран	36
Перекрёсток	41

Юозас Шикшнялис
ОЖИДАНИЕ
новеллы



перевод с литовского Clandestinus
дизайн, вёрстка А. Попов

Гарнитура Georgia, формат 145x205
бумага офисная, печать цифровая,
тираж 200 экз.

Издательство «Арс Магна», Клайпеда, Литва
Калининградский ПЕН-центр, Калининград, Россия

Отпечатано в типографии
Калининградского ПЕН-центра